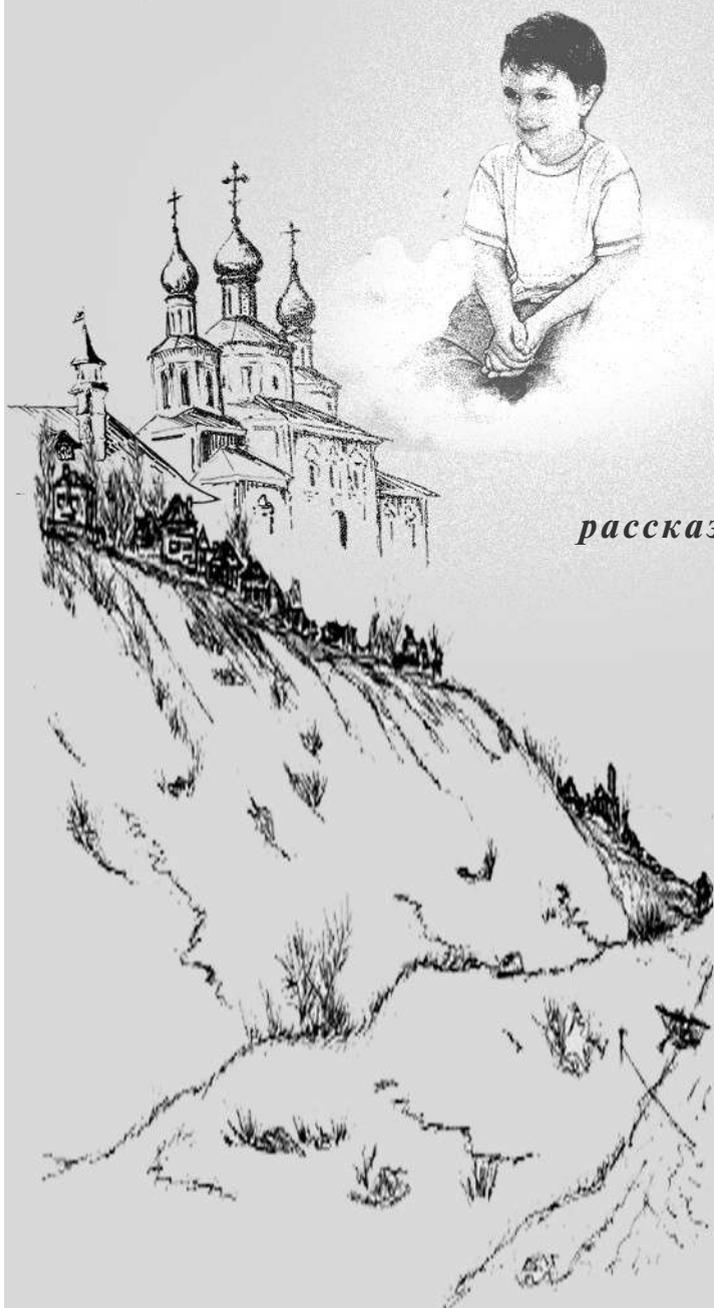


Андрей МАРКИЯНОВ

г. Тюмень

# ВИДЕНИЕ



рассказ

Мы отдыхали — лежали на пригорке в тени столетней плакучей березы, курили и поглядывали на развалины деревенской церкви. Стояла самая середина лета, южный ветер нес с цветущих лугов сладкую пыль, порою гнал по их косякам волну, и все время не переставая, однообразно шумела над головой могучая крона. Я поднял голову, солнце пылало почти в зените, а необозримая синева неба была настолько густой и глубокой, что казалась нездешней, тропической. «Господи, хорошо-то как», — подумал я, оглядываясь кругом. Недалеко от развалин, ближе к реке обособилась крохотная пасека — пяток ульев, разбросанных среди старых яблонь — а чуть дальше омшаник и домишко старика, угощавшего накануне нас медом. Поставил на пенек перед избой эмалированный таз, где вместе с тягучим нектаром плавали кирпичные обломки сот, а рядом ведро ледяной воды из колодца. И, усмехнувшись, сказал:

— Без ей никак нельзя, а так в аккурат будет.

— Что ж, дед, не скучно здесь одному на отшибе?

— А на кой она мне, деревня-то. Чего я там не видал?

— Да ведь как, сосватал бы старушку — все, глядишь, не один.

— А на кой она мне, старушка-то. Чего мне с ей делать? Мне окромя собаки да кошки ничего не надо, привык.

Еще дальше за пасекой, за песчаным обрывом реки, источенным раковинами птичьих гнезд, на многие километры тянулись леса, фиолетовым обручем стягивая горизонт, и вся картина, исполненная неги, чистоты и покоя, будила мысли о временах старозаветных, загадочных...

— Когда я смотрю на эти руины, мне хочется выть от отчаяния, — сказал один из нас, художник с ястребиным носом, с бледно-голубыми пронзительными глазами. Он встал на колени, сложил на груди мускулистые руки и некоторое время стоял так, с торжественной строгостью глядя перед собой. Потом театрально закончил: — Не задумываясь, отдам обе ноги и левую руку за возможность воочию видеть допетровскую Русь. Эх. Не в свое время родился я, не в свое.

— Присоединяюсь! — тотчас заявил, поворачиваясь на бок, поэт — молодой человек с деланно мрачным, бородатым лицом дровосека. — Я тоже чужой на этой мусорной свалке, где давно не осталось ничего святого. И даже вера в Бога вырождается непонятно во что. Увы, поэт был прав — все тонет в фарисействе.

— Да при чем здесь вера, — с досадой возразил художник. — Дело не в вере, а в верующих, люди теперь стали не те. Они не верят в чудеса, в жизнь после смерти... то есть, может, они и хотят, да не могут, не получается. Вот вам набросок с натуры. Был я как-то под Рождество в нашем Успенском соборе, стоял, слушал пение хора и вдруг вижу: входит парень лет семнадцати и, по тому, как робко приближается к небольшой группе верующих у амвона, понимаю, что в церкви он в первый раз. Подошел, остановился недалеко от меня и замер с расширенными глазами, пораженный всем этим внутренним великолепием убранства, торжественностью и чистотой голосов, плывущих с хоров под сводами церкви. Одного он не сделал — не снял по незнанию шапки. И тут же к нему подбегает гнутая старуха в черном, — из тех, что шатаются там с утра до вечера, — подбегает и с силой срывает с него шапку. И столько было в змеиных глазах ее холода, когда она прошипела: «нехристь несчастный», что мне стало не по себе. Лицо парнишки побледнело, а от испуга и растерянности на глазах его выступили слезы. Он забрал у нее шапку, опустил голову и торопливо направился к выходу. Какие, скажите, понятия могла внушить ему о Вере эта карга с ее казарменными ухватками? А ведь именно она в ту минуту являлась для него олицетворением православного человека. Какие уж тут чудеса. Какое тут, к черту, бессмертие.

Пока художник предавался воспоминаниям, а поэт мрачно вторил ему, наш четвертый приятель, до сих пор не проронивший ни слова, сидел у березы и пил из термоса квас. О нем следует сказать особо, поскольку, собственно, благодаря ему и ведется этот рассказ. Он приходился художнику шурином, был значительно старше нас и слыл мужчиной сугубо практичным, с успехом занимался коммерцией и

другими серьезными делами, а нрав имел суховатый, несколько замкнутый, при всем этом оставаясь человеком добрым и искренним. Звали его Иваном Романовичем. Ростом он был невелик, туловищем коренаст, с большой головой и коротким, побитым сединой волосом. Он носил выпуклые дымчатые очки в золотой оправе, а лицо его было самое обыкновенное — широкое спокойное лицо учителя сельской школы. За последний месяц он уже дважды выезжал с нами на природу и, судя по нему, остался вполне доволен. Когда художник умолк, Иван Романович поставил термос между колен, снял очки и, сдвинув брови, многозначительно произнес:

— Все это очень неприятно, я имею в виду выходку той фанатичной старушки, но не так уж и страшно. Куда неприятней нынешнее поголовное лицедейство, когда, к примеру, разодетые в пух и прах барышни являются в церковь, как в театр, из желания не столько увидеть спектакль, сколько принять в нем участие. Невероятно, но факт: на церковь повальная мода. Сколько раз я наблюдал, как появляются там эти новообращенные грешницы, демонстрируя публике дорогие меха и сногшибательные драгоценности. И все это с притворным смирением, с лживой скорбью лица. Быть такой грешницей — необычайно модно. Я, разумеется, не против мехов и прочего, отнюдь нет, но церковь, повторяю, не театр, и выглядеть тут нужно скромнее.

— Согласен. Для меня скромность — синоним смирения, — проговорил в задумчивости художник.

— Но всего печальнее то, — еще многозначительнее сказал Иван Романович, — что и церковь нынешнюю все это, похоже, устраивает. И фанатичные старушки в облике надзирательниц, и святая вода прихожанам напрямую из грязной бойлерной, и лицемерные господа, для которых служители божьи готовы теперь на многое — не только освятить новый комфортабельный бордель в центре города, но как в той сказке, помните? Заплатил мужик бабюшке как следует, так он издохшую собаку отпел в царствие небесное. Все повторяется, молодые люди, но с той лишь разницей, что

батюшка современный куда бессовестней своего туповатого предшественника — анекдотического пьяницы и любодея.

— Но женщина всегда останется женщиной, даже в церкви, — с усмешкой заметил поэт. — Это у них в крови.

— А теперь относительно чудес, — снова заговорил Иван Романович, но неожиданно замолчал, задумался, покусывая стебелек одуванчика. Поэт не выдержал:

— Вы, кажется, сказали — чудес. Каких чудес, Иван Романович?

Иван Романович поправил очки и смущенно ответил:

— Самых настоящих, конечно. Но, может быть, вам неинтересно?

Мы немедленно возразили и приготовились слушать.

— Имейте в виду, рассказчик я никудышный, но, уверяю вас, все случившееся со мной истинная правда, и до сегодняшнего дня никто об этом не знал за исключением моей супруги. Эта маленькая тайна много лет согревает мне душу. Мне всегда казалось, если я сообщу о ней, во-первых, мне не поверят, а во-вторых, все чары развеются и я лишусь своего бесценного подарка, обладателем которого так неожиданно стал. Но сегодня, слушая вас и глядя на развалины церкви, я вдруг подумал: пусть люди знают, что чудеса бывают не только в библейских писаниях... Тут среди нас находится писатель, — добавил он, указывая на меня, — и если он напишет правдивый рассказ, отчасти похожий на сказку, я буду искренне рад, потому как уверен — правда всегда отыщет путь к сердцу читателя.

— Возьмусь с удовольствием, — сказал я, польщенный доверием. — Но с одним условием.

— Каким же?

— Чтобы правда выглядела правдоподобно, ваша история будет изложена языком автора, то есть моим.

— Согласен, — улыбнулся Иван Романович. — Но и у меня есть условие. Прежде чем рассказ будет опубликован, вы прочтете его всей нашей компании. И случится это у меня дома за бутылкой хорошего вина.

Он пустил термос по кругу, и когда мы на-

пились и с удовольствием закурили, неторопливо начал:

— Случилась эта необычная история лет тридцать назад, в те времена, когда я работал в одной торговой конторе и попутно оканчивал заочное отделение Плехановского института. Мать моя, женщина глубоко верующая, окрестила меня, а позже и сестру в самом раннем детстве, так что сколько я себя помню, верить в Бога для меня было так же естественно, как, например, дышать или пить воду. Я никогда особенно не задумывался, не философствовал на тему: что такое есть вера в Бога и сам Бог, просто верил и все, но без фанатичного подбострастия, оно всегда мне претило. Отец, партийный чиновник, человек холодный и молчаливый, занимал в нашем городе ответственный пост, но и он, как я позже узнал, был крещеным и верующим. Конечно, в школе, а потом и на работе не догадывались, что я посещаю церковь, читаю Библию и по возможности соблюдаю пост. В школе меня засмеяли бы, а на работе смотрели бы как на реликт, выброшенный морем на сушу. Такая перспектива меня не устраивала. Я знал, что быть не таким, как все, в нашем обществе крайне обременительно, и потому старался не выделяться, правда, в силу характера был необщителен, не принимал участия в коллективных дискуссиях на службе, но это только играло мне на руку — начальство не любит болтливых. И все-таки человеком я слыл себе на уме, а некоторые до сих пор видят в моей замкнутости либо корыстолюбивый расчет, либо самое обыкновенное бездушие. Бог с ними, я не в обиде. Я и в самом деле никогда не имел близких друзей, как-то уж так получилось, а все мои знакомства не выходят за рамки практического, делового свойства. Нелегко я сходилась и с женщинами. Не то чтобы я бежал от их общества, нет, но в большинстве своем они казались мне существами пустыми, болтливими, мысли и желания их были примитивны, а поведение отличалось жадной игрой, самолюбования и позы. Не отрицаю, я идеализировал женщину, вероятно поэтому и женился так поздно. Но встретил я именно ту, о которой мечтал, и опять-таки не без божьей

помощи. А пришла эта помощь очень естественно и на первый взгляд совершенно случайно, поскольку знакомство наше состоялось в церкви, сразу по окончании службы. Мы оказались рядом, шли рука об руку к выходу, и когда вышли на обледенелую паперть, я осторожно поддержал ее за локоть, а она улыбнулась и благодарно кивнула. Да, именно так все и было. Но, кажется, я заболтался, тем более это не относится к делу.

— К делу относится все, — не замедлил вставить поэт. — Продолжайте, Иван Романович, я весь внимание.

— В первый раз слышу, — добавил художник, покосившись на шурина. — Я часто беседую с Ириной Викентьевной на самые разные темы, вы знаете, как я ценю ее мнение. Но о вашем романтическом знакомстве узнал только сегодня... Да и не только о нем одном, — закончил он, обиженно дернув губой.

— Ну-ну, — сказал Иван Романович, — возьми-ка вот хлебни лучше квасу, дай бог здоровья этому пасечнику. Итак, на чем я остановился?

— На том, как вы познакомились в церкви, — ответили мы.

— Так. В церкви. Верно. Думаю, церковь и явилась связующим звеном между мной и теми странными событиями, что последовали вскоре за ее посещением. Нет, я говорю не о том дне, когда познакомился с Ириной, а о более раннем времени. В тот год я уехал в Москву на сессию, недурно выдержал экзамены и решил позволить себе вполне заслуженный отдых. Я поехал в Рославль, старинный провинциальный город километрах в трехстах от Москвы, где жила моя тетья, и там у нее в просторном бревенчатом доме с беседкой в яблоневом саду провел две чудесные и самые спокойные в моей жизни недели. Сад был старый, запущенный, по ночам в нем пел соловей, а днем среди яркой зелени переливалась на солнце паутина и на цветах по-хозяйски гудели шмели. Последний раз я был у тетки будучи школьником, и все-таки по приезде сразу отметил, как мало она изменилась — разве что сизым стал румянец на скулах да еще уплотнилось короткое, полногрудое тело, еще тоньше

и суше стали ноги, обутые в мягкие тапки без задников. Ко мне она относилась по-старушечьи ласково, но без умиления, не суежилась без толку, словом, предоставила меня самому себе, занимаясь в основном тем, что утром готовила завтрак и до обеда уходила к соседке, где за разговорами они выпивали бутылочку вина, а после сидели у калитки, покуривая папиросы. Их роднило не только то, что обе в войну потеряли мужей, но и то, что после войны они так и не вышли замуж, при этом не особенно оберегая вдовье целомудрие, которое так любили обсасывать писатели и драматурги советского времени. Но это я так, между прочим. К обеду она возвращалась, собирала на стол и часа на два ложилась вздремнуть, а после опять уходила до вечера. Таким образом, повторяю, я был предоставлен самому себе и не скажу, что вынужденное одиночество доставляло мне огорчение, более того, оно действовало почти наркотически. С тихой беспричинной радостью, а может, со сладкой печалью бродил я по зеленым улицам древнего города, смотрел на крепкие старинные дома, на их степенных владельцев, в большинстве своем пожилых и хозяйственных, шел мощенной булыжником улицей мимо красного кирпичного здания, где когда-то размещалась немецкая комендатура, и почти не встречал машин — лишь изредка мотоцикл или полупустой автобус нарушали своим рокотом этот патриархальный покой. И в таком вот счастливом однообразии прошли почти две недели. Незадолго перед отъездом, тем памятным воскресным днем я отправился в церковь, трехглавый храм, сквозивший пролетами пустой колокольни, отстоял обедню и, подходя к кресту, обратил внимание на то, как пристально посмотрел на меня седобородый священник, должно быть, удивленный моей молодостью. И в самом деле, хотя людей собралось порядочно, все они были не первой молодости, а проще сказать, старики. Я вернулся домой, спать лег раньше обычного, и приснился мне удивительный сон: я стою внутри церковной ограды, а вокруг полным-полно празднично одетых ребятишек, ну просто как в детском саду. И все они что-нибудь держат в

руках, кто кулич, кто пряник или конфету. В изумлении я огляделся и у самой ограды, в отдалении от других, увидел мальчика лет семи, одетого в белую рубашку и черные брючки, который, не мигая, смотрел на меня, а потом сдвинулся и медленно пошел навстречу. И я тоже пошел к нему, почему-то спеша и немного волнуясь. Когда мы поравнялись, я присел и взял его за руки.

— А у тебя почему нет ни булки, ни коржика? — спросил я его.

— Не принесли, — ответил он тихо, — уже давно не приносят. Только вот это, — он разжал пальцы, и я увидел на ладони несколько двадцатикопеечных монет. Я сжал его локти.

— Как же так, почему?

— Потому что здесь у меня никого не осталось.

— А где же они?

— Мама и папа живут в вашем городе, — сказал он, вздохнув, — а бабушка умерла еще раньше.

— Понятно. А как же тебя звать-величать?

— Сережа.

— Так. И что же я должен делать, Сережа? — спросил я, поражаясь своему спокойствию и рассудительности.

— Как приедете, зайдите на улицу Степную, номер двенадцать, и передайте, что я жду. Я и нынче их ждал в родительский день, да только они не приехали...

— Скажу, родной, обязательно скажу. — И я поднялся, держа его за руку.

— Ну, мне пора, — сказал он, указывая на распахнутые ворота церкви, куда гурьбой устремились дети. Я проводил его до входа, за которым не было ничего, кроме могильного мрака, и напоследок спросил:

— Ты сказал, Степная, двенадцать, а номер квартиры?

— Это частный дом. Там почти все дома частные, вы должны знать об этом.

— Извини, запомятовал.

— Это вы меня извините, — сказал он и бросил взгляд на мрачно темнеющий вход. — Прощайте, спасибо за вашу доброту. И за веру. Но знаете, здесь все не так, как вы думаете, дядя Иван.

— А как же здесь? Как? — спросил я, испытывая сильную душевную муку.

— Я и сам не все понимаю, я ведь маленький, — ответил он и снова вздохнул. — Прощайте. И не спешите жить, живите подольше.

— Я сказал — сон. Нет, конечно, не сон, а самое настоящее видение, поскольку не только лицо его, но и многие лица детей я до сих пор помню так ярко и отчетливо, что, будь я художником, давно написал бы их.

— Невероятно, — еле слышно сказал поэт, закрывая глаза.

— Да-да! Говорю вам — истинно так! — разволновавшись до красноты ушей, настойчиво продолжал Иван Романович. — Утром я записал адрес в блокнот, хотя, собственно, и записывать-то не имело смысла, он отпечатался в моей голове навеки. Спустя два дня я вылетел из Москвы домой и по прибытии, ближе к вечеру, отправился на Степную. Был это старый, похожий на деревню район на окраине города, где многие семьи в то время еще держали домашний скот, а кривые улицы с деревянными тротуарами и заглохшими колеями замысловато петляли, оканчиваясь то тупиком, то переулком, этакой щелью между заборами, настолько тесной, что двум встретившимся прохожим разойтись там было довольно сложно. Не без труда разыскал я в этом хаосе нужный адрес и, признаюсь, не без трепета надавил на щеколду и вошел во двор. Что ж, дом как дом, небольшой, бревенчатый, рядом баня и нечто похожее на стайку. Двор чистый, поросший кудрявой травой с песчаными зальсынами, с натянутыми поперек бельевыми веревками. Все это я разглядел, пока топтался у крыльца, не решаясь войти в открытые двери сеней, в то время как в доме (я услышал отчетливо) напряженный женский голос затянул колыбельный мотив.

— Э, да у них маленький ребенок, — подумал я и решил подождать, присел на ступеньку крыльца, размышляя о сложности предстоящего разговора, ни минуты, впрочем, не сомневаясь в правдивости своего видения. Да, с того самого мгновенья в Рославле, когда я проснулся и записал адрес, я уже твердо знал,

я был уверен, что все случившееся со мной неспроста, что волею судьбы я оказался жителем города, куда за тысячу верст переселились родители мальчика, и я обязан выполнить его просьбу. Одного я не знал: как повести разговор, не рискуя прослыть сумасшедшим. Немного погодя пение прекратилось, а через минуту в глубине сеней мягко хлопнула дверь, ударил сквозняк и заскрипели крашенные половицы... Я быстро поднялся. Передо мной с вопросительно поднятыми бровями и ворохом ползунков в руках стояла невысокая смуглая женщина в пестром ситцевом платье, несколько полная, черноволосая, черноглазая, с синеватым пушком вдоль щек и над верхней губой. И тут меня одолели сомнения. Мальчик, явившийся мне той ночью, не имел с ней ни малейшего сходства. Он был типичный славянин, русые волосы, голубые глаза, а здесь чувствовалось присутствие совсем иной крови. Мысли мои смешались, я потерялся и, вместо того чтобы хоть что-то сказать, только тупо смотрел на нее, между тем как пауза все затягивалась. Наконец женщина нашлась, она с вежливой усмешкой спросила:

– Почему вы так на меня смотрите? Мне кажется, я вас не знаю.

– Не знаете, – подтвердил я, выходя из оцепенения. И тут же, не сходя с места, решил закончить со всеми недоразумениями. – Скажите, вы жили когда-нибудь в Рославле? – сказал я, переставая дышать.

– О! – воскликнула она удивленно. – Конечно, жили. Я же родом оттуда. Но как вы узнали? Мы уехали из Рославля пять лет назад.

– Все ясно, все ясно, – забормотал я, беспечно шаря по карманам.

– То есть что значит – ясно? – спросила она в замешательстве. – И как вы разыскали наш дом? В Рославле у нас никого не осталось.

Я сел на ступеньку и, глядя снизу вверх в ее тревожные глаза, негромко сказал:

– Почему не осталось... А на кладбище?

Она выронила из рук ползунки и, прикрыв ладонями рот, стала пятиться, пока не уперлась в косяк.

– Кто вы? Что вам нужно? – сказала она испуганным шепотом.

– Скажите, у вас был сын Сережа? – спросил я как можно спокойней.

– Боже! – прошептала она, – конечно, был. Он умер шесть лет назад и похоронен на городском кладбище... Но, ради бога, ответьте наконец – кто вы такой и что все это значит?

– Сейчас объясню. Только не пугайтесь, а постарайтесь понять и, главное, поверить в то, что я расскажу.

И я рассказал ей все до мельчайших подробностей. Закончил я приблизительно так:

– Он просил передать, что ждал вас в родительский день, ждет и сейчас, и вообще, как я понял, будет рад вам в любое время. Красивый мальчик. Только уж слишком печальным он выглядел там, среди сверстников.

– Просил передать, – повторила она и побледнела той пепельной бледностью, что бывает обычно у смуглых. Потом села рядом со мной на ступеньку.

– Да, все правильно, – с горечью прошептала она. – Я иногда подаю нищим мелочь, прошу помянуть Сережу... вот и нынче в родительский день подала. Но адрес... Он, что же, и адрес вам дал?

– Он и дал, а иначе как бы я вас разыскал?

Она вдруг жалко улыбнулась, и губы ее задрожали. Страдальчески глядя на меня, она забормотала умоляющим голосом:

– Ну, пожалуйста... прошу вас, не мучьте меня! Для чего вы все это придумали? Что я сделала, чтобы так страшно шутить надо мной?

Я взял ее за руку.

– Успокойтесь, я редко шучу. А уж тем более на подобные темы.

– Да что же это такое, Господи!

– Между прочим, могу сказать еще кое-что. На его правом виске я заметил небольшой шрам. Вы случайно не знаете о его происхождении?

Она с ужасом взглянула на меня и безвольно опустила голову.

– Как мне не знать, если шрам и был причиной его смерти. Мы возвращались из магазина, когда его сбил самосвал. Была зима, гололед... Он ударился виском о ледышку и умер по дороге в больницу. У меня на руках. Так, знаете, вытянулся и тут же стал холодеть...

Она оперлась о ладонь, хотела встать, но неожиданно положила голову на мое плечо и расплакалась. Потом поднялась и сказала, икнув:

– Идемте, я покажу его фотографии.

– Мы разбудим ребенка, принесите-ка лучше сюда.

– Как хотите, – сказала она покорно, ушла в дом и скоро вернулась с большим альбомом в красном плюшевом переплете. Несколько первых страниц занимали фотографии Сережи (я сразу узнал его), начиная с рождения и заканчивая последней, снятой в детском саду у песочницы, где он стоит, поджав губы, одетый в матроску и вытянув руки по швам. Она предложила мне взять фотографию, но я отказался, объяснив тем, что в моей памяти мальчик навсегда останется таким, каким я увидел его на церковном дворе.

– Я понимаю, я понимаю, – ответила она, думая, однако, о чем-то своем, сокровенном. И тут до меня дошло: в ту минуту она находилась не здесь, она была с давно умершим и все-таки живым ребенком, смотрела на него моими глазами, говорила с ним моим голосом, а мое присутствие было уже не важным.

– Не забывайте, вы теперь человек меченый, – сказал я, прощаясь и пожимая ей руку.

– А вы? – спросила она, улыкнувшись сквозь слезы, и снова икнула.

– Ну, что вы – я только посредник, – ответил я, и на том мы расстались.

– Но вы были еще на Степной, виделись с женщиной? – нетерпеливо воскликнул поэт.

– Нет, не был. Но женщину видел, и вот при каких обстоятельствах. С тех пор прошло около трех лет. Однажды зимой, в самые святки, захватила меня жгучая метель неподалеку от Старо-Никольского кладбища, которое, как вы знаете, уже лет тридцать закрыто для погребений. При кладбище имелась одноглавая, жалкая своим заброшенным видом церквушка. С отвалившейся по фасаду штукатуркой, с мерзкой темно-зеленой краской купола и тем не менее всегда открытая для прихожан. Я решил зайти обогреться, а заодно поставить свечу «всем святым». Вхожу, и что вы думаете? В «церковной лавке» за деревянной перегород-

кой вижу ее, эту самую женщину. Стоит в белой кофточке, черной юбке и черном, по-монашески повязанном платке. Стоит и продает прихожанам свечи, лампадки, крестики, рядом ящичек для пожертвований. Она сильно изменилась, похудела и даже постарела внешне: черты ее поблекшего лица стали тонки и болезненны. Но зато как чудесны были ее темные библейские глаза, струившие тихий свет и смирение. Я, было, хотел подойти и поздороваться, поговорить, но, поразмыслив, решил не смущать ее, отступил в тень и незаметно покинул церковь.

– Но почему?! Почему вы не поговорили с ней, не расспросили?! – почти закричал поэт. И сокрушенно добавил: – Вы были обязаны к ней подойти!

– Кажется, пахнет грозой, – предупредил художник, кивая на юг, где весь горизонт вместе с полями и лесом накрыла тенью гигантская черно-серебристая туча, озаряемая снизу блеском ветвистых молний, и уже погромыхивало. Внезапно все стихло, куда-то пропали птицы с их разноголосым щебетом, исчезли стрекозы, и лишь комары неустанно ныли в густой неподвижности воздуха, насквозь пропитанного терпкой духотой цветущих лугов.

Иван Романович открыл термос и налил себе квасу.

– А я не жалею, что поступил именно так, а не иначе, – сказал он невозмутимо и высоко поднял наполненную до краев кружку. – Послушайте, она себя обрела, нашла свой единственный путь, свое место, стала ближе и к сыну, и к Богу. И мне показалось тогда неприличным и даже жестоким напомнить ей о себе. Вы понимаете, о чем я? Ну вот и отлично. Теперь все, спасибо, что выслушали. Ваше здоровье, молодые люди!

# ЛУКИЧ И АННА

## рассказ

### 1

Вчера утром услышал в окно: «Лука Лукич Утонул!» Невероятно. Потом пошел посмотреть. И вот сегодня не вытерпел, сел за пишущую машинку, благо покойник не знает, ибо всю жизнь относился ко «всяким писаниям» с неприязнью, а уж подобное о себе не одобрил бы точно.

— Ну, здравствуй, здравствуй, — сказал он позавчера, входя через калитку в наш старый сад и присаживаясь на скамью в тень густой развесистой яблони. — Опять строчишь. Опять выдумываешь.

— Да вот, пытаюсь, — ответил я, усмехнувшись. — Здравствуй, Лука Лукич. — И сдвинул в сторону машинку, закурил в ожидании того, что последует дальше. И, помнится, дальше он заявил, с любопытством оглядев ствол у яблони:

— Ну, а если выдумываешь, стало быть, вранье. А если вранье, то какая от этого польза?

— То есть как это — какая? — начал было я. — Если люди читают, значит, и переживают вместе...

— Истинная правда, — перебил старик, глядя в сад голубыми глазами. — Переживают. Но переживают-то они за тех, кого и в помине не было, а значит, понапрасну мучаются и страдают. А от этого в душе разлад делается и голова наперекосяк встает. Удивляешься? Да вот хоть соседи твои — одно загляденье. Митька-то, слышал, небось, что учудил? Взял на спор, да и сшиб с копыт годовалого бычка кулаком. Чем не богатырь, чем не работник! А что делает? Натащил этих книжек, зайти страшно, и читает целыми сутками. Это все библиотекаряша его с панталыку сбила лекциями своими, будь они неладны. Огород зарос, глядеть стыдно — бурьян свыше росту. Мать, прости господи, смотреть не на что, извелась, тянется на его. Да как же это получает-

ся. Ты писульки пишешь, он, к слову сказать, читает, а кто работать будет? Кто?

И, внезапно сердясь и краснея, добавил, постукая себя пальцем по голове:

— Здесь еще кое-что осталось. Все знаю. Есть еще чем смозговать.

И вот неожиданно умер, удивил деревню нелепостью смерти, так не связанной с его рассудительностью и скрытой жадностью к жизни, несмотря на свои восемьдесят пять лет.

Так и чудится — выйди сейчас на дорогу, а он стоит напротив своей крепкой избы. Низенький, сбитый, как гиря, в синей косоворотке и суконных брюках, заправленных в хромовые сапоги, стоит и внимательно провожает взглядом редкие грузовики — машину в помощь по хозяйству ловит. А хозяйство приличное. Две дойные коровы, нетель, бычок, ну и овцы, гуси, куры в довесок. Огороду под картошку пятьдесят соток содержит да еще наметил брошенные земли распахать. Двор просторный, несмотря на скотину — чистый, обнесен высокой оградой, с ярым кобелем, который от злобы уже не лает, а лишь хрипло кашляет на прохожих, брякая по натянутой проволоке цепью. И все это на двоих с парализованной старухой, медленно умирающей в тесной кровати за шторкой. Раз зашел к нему, помогал вносить купленный в городе шифоньер, и опешил, увидев ее. Смотрит из-за ситцевой занавески, отведя ее темной иссохшей рукой, мелко трясет головой, а спутанная легкая прядь волос на щеке, как рваная паутина. И страшно сделалось при виде этих пристальных, сплошь черных смородинных глаз на мертвом лице.

Я уже сообщал, что жизнь Лука Лукич любил, жить собирался долго и умереть боялся ужасно. Страх перед смертью имел животный, скрытый и заметный лишь в редких разговорах о ней по

блеску глаз да по каплям пота, по бледности, проступавшей в такие минуты на его коричневых гладких щеках, на блестящей лысине и даже на толстых простонародных ушах.

Однажды сидели с ним на скамейке у его избы. Дело было в июле, ночи стояли лунные, теплые и необычайно тихие. Из любопытства я вспомнил про одного мужика-охотника из соседней деревни, который много лет назад из ревности отрезал голову жене и забросил эту окровавленную голову в огород к ее любовнику, уважаемому всеми комбайнеру.

— Ну, знаешь, дураков-то всегда хватало, — скосив рот, пробормотал Лука Лукич. — Это все от безделья да от вина.

— А вел он себя, рассказывал потом участковый, совсем непонятно. Сидит этак тихо, улыбается смущенно, а если что спросят, докладывает с готовностью:

— Захожу я с ножичком в горницу, а там, значит, никого. Думаю, где Зинка, куда убралась? Глянул в окошко — на огороде пластается, вот оно что. Подошел к ей, ножик за спину спрятал и говорю громко, но без крику, не то она вроде как сердитая была перед смертью-то. «У тебя чего это шея в пятнах, а? С Гришкой опять принялась за старое? Отвечай!» Она руки вытерла о подол и говорит: «Дурак ты, — говорит, — и больше ничего — смотри, если хочешь». И шею вытянула, так хрящики и заходили. Ну и саданул я ей для начала под самую челюсть, так что кровью всю рубаху мне окатило...

Я в ожидании замолчал, а Лука Лукич быстро проговорил, отирая рукавом лоб:

— Черт! Пустое все, пустое!

В конце беседы подошел сосед Яков — мужик тупой, молчаливый, с тяжелой от вечного хмеля головой. Он дослушал, закурил, а потом неожиданно поддержал разговор, рассказав, как бегал во время войны от дезертира:

— Иду это я от тетки из Гурьева с хлебом да салом, а уж ночь, до деревни с версту будет. И учуял, слушай-ка, бежит за мной неизвестный. Я драсть, он за мной. Вильнул я в лес, забился в кусты, сижу чуть живой от страха, а он бежит мимо по дороге, в колее скользнул, упал и залаял, как черт. Тут, говорит, где-то должен быть, сученьш поганый. Так и сидел я до утра, ни жив ни мертв, с мужиками потом в обозе доехал до дому-то. А

через день девку эвакуированную подобрали в лесу, полумертвую. Без еды, без грошей и понасилованную в придачу.

И, сплюнув, он вытащил из брючного кармана бутылку самогона, выдернул зубами пробку и приложился, высоко задрав лохматую голову.

Я молчал, Лука Лукич сидел, весь подобрался, и тихо покашливал. Затем в сердцах высказал:

— Болтун ты, Яков, и отец у тебя был болтун, и родня вся ваша не лучше. Брешешь, как сивый мерин. Иди-ка давай, не загибай, чего не было.

Яков встал и строго взглянул на Луку Лукича.

— Это я-то болтун? Да кто ты такой, пердун старый, чтобы я брехал тебе?

Потом в сердцах сплюнул и зашагал неестественно прямо на негнущихся ногах к своей избушке.

## 2

Своих деревенских Лука не жаловал.

— Прохвосты, болтуны и лентяи, — с удовольствием говорил он, кивая на единственную дорогу, вдоль которой примостилось не более сорока дворов. — Ты посмотри, дома еле живы, заборы заваливаются, дети в портках — на пугало стыдно примерить. Ну разве мужики это? Баб родных лупят, спаивают, коровенка у кого есть, да и та в навозе по уши. Сетешки дырявые, а рыбы сколь наловят и ту на продажу, на вино отдают.

Сам Лука никогда не рыбачил, боялся воды, но у дома на кудрявой полянке, как на показ, лежала вверх дном просмоленная длинная плоскодонка.

— Что ж, не хуже других, — опять же с радостью говорил он и обязательно добавлял: — Такой отродясь ни у кого не было. Да и неоткуда.

И правда, в деревне пользовались старыми, уже изгнившими с дедовских времен долбленками. И тем не менее рыбу у этих мужиков он покупал исправно, и платил за нее непременно бражкой или бутылкой-другой самогону. Все у него было особое, не как у других в деревне. Если у всех колодцы были бревенчатым срубом, то у него — глубокая скважина с насосом. Если копны в стога свозили колхозными лошадьми, то у него на этот случай имелся мо-

тоцикл «Урал». И прошлое Луки тоже было особое. Неясно, например, чем он занимался в войну, потому как на мой вопрос об этом еще год назад ответил:

— Был разгильдяй, оттого и поплатился. — И тем самым положил конец дальнейшим вопросам.

Еще скажу, что деревня наша мала — сорок дворов, и к тому же бедна, почти все жители — старики. Те мужики, что живут еще в ней со своими семьями и работают в колхозе, в самом деле пьют много и жизнь ведут в общем безобразную, скучную до предела то ли от этого пьянства, то ли от того, что чувствуют себя никому не нужными, всем миром брошенными в нашей глухомани.

Рядом с деревней, в низине за лозинами, большой круглый пруд, затянутый зеленой ряской, с глинистым топким берегом в клочках мягкой травы и коровьих лепешках. Еще ниже ровным полукругом течет речка, огибая с одной стороны остров, замыкающийся с другой стороны старицей. Остров глухой, со множеством утиных озер, заросший березняком, черемуховыми дебрями, где в жаркий день гудят шмели, а в неподвижном воздухе подрагивают крыльями огромные золотые стрекозы. На острове косят траву, мальчишки собирают полевой лук, ищут яйца уток и чибисов, ловят в озерах карася и голяна. Слева от деревни начинаются большие смешанные леса. Есть там и рябчик, и глухарь, и косуля с волком. Встречается и медведь, из тех, кого местные мужики прозвали белобочкой. А к востоку уходят бесконечные покатые поля, летом зыбко голубеющие овсом и желтеющие гречихой, зимой белеющие ребристым, твердым, как лед, настом с летящими по нему охапками рыжей травы и сухой снежной пылью. Летом в деревне пахнет полевыми цветами, навозом, роятся пчелы и кричат петухи; зимой она тонет в серых от сажи сугробах, в избах пахнет печеным хлебом, в стайках режут коровы, а по ночам слышен вой собак и сутками несет беспросветной тоскливой вьюгой.

Впрочем, ко всем этим красотам деревенский житель равнодушен. Ему наплевать на то, что за рекой тянут высоковольтную линию — что срезали под корень отличный строевой сосняк и тут же в траншеях закопали его. Что

кругом с годами стало рябить от колючей проволоки приписных и подсобных хозяйств, никакого отношения к деревне не имеющих, и земель их прадедов распоряжается заезжий начальник, и даже указывает, где им можно, а где нельзя охотиться и рыбачить.

— Да што — деревню, небось, не тронут, — говорят мужики. — На наш век, стало быть, хватит. А коли и тронут, так ить без места, по-ди, не оставят.

### 3

В детстве я часто в летнее время уходил на берег реки, куда-нибудь в укромное место, и подолгу сидел там, среди темной зелени прибрежных кустов ивняка, его отпотевших и грязных от весеннего паводка стеблей; смотрел, как плещется по воде рыба, слушал, как истошно кричат чайки, переламываясь и падая в нагретую солнцем воду, как сипло режут солнечную тишину полей вопли чибисов, звенят в поднебесье жаворонки, в тени кустов шелкают мухоловки. Счастливый в своем одиночестве, смотрел я, как косит на том берегу тетка Шура, курносая рыжая баба в белом платке, косит, до груди пропадая в бледной от зноя траве, изредка отирая рукой лоб и отхлебывая из стоявшего под кустом бидона холодный, с крошками квас. Почему я смотрел на эту красоту с такой несказанно счастливой болью, будто видел все это в последний раз в жизни?

Шли годы, я по-прежнему приходил на реку, но того счастья, что было в детстве, уже не испытывал. Плыл по реке на старой долбленке картavyй Матвей Квасняк, и я думал: а ведь прав был Лука Лукич, рассуждая о наших деревенских мужиках — совершенно равнодушные, непонятные своим равнодушием люди. И тут же вспоминал, как однажды ранней весной, едва стала прибывать вода, Квасняк перегородил фитилями межозерицу и поймал не меньше центнера карасей, которых он и продавал, заходя в избы и предлагая бабкам: «Стагухи, гыбки! Кому гыбки, стагухи!» Побывал он и у нас. Но едва я увидел рыбу, меня охватила досада. Карась был мелкий, величиной с юбилейный рубль. Я обругал Квасняка, попытался устыдить его, заставить выпустить рыбу, пока она еще сонная — но тот был не-

умолим. Он завязывал тесемкой скользящий от чешуи мешок и что-то непонятное бормотал себе под нос, не имея смелости сказать в лицо. Потом взвалил на плечо мешок и, поддерживая его трясущейся рукой, пошел прочь, на ходу прошептал с ненавистью:

— Ишь ты, пгаведный! У меня заказу много!

Третью рыбы он продал, в стельку напился, а придя домой, выгнал на улицу и жену и ребятишек, бегая у ворот с поленом и крича с горькими слезами:

— Для кого стагаюсь? Для кого? Убью, сука дганая. Загежу, собака!

Жена его, высокая и костлявая, в черной фуфайке и резиновых сапогах, в которых, как палки, стояли ее лиловые от холода ноги, убежала на край огорода и маячила за кучей жердей, размазывая по лицу пьяные слезы и что есть силы воя, пытаясь привлечь этим воем сельчан и будто находя особое удовольствие в их очередном семейном скандале.

Я пошел успокаивать Матвея, и он, как только меня увидел, бросил полено и запричитал:

— Газбигаться идешь? Ну бей, бей, как положено! — И скривился лицом, подскочил со словами: — Надоего, бгатуха. Надоего все, пгопади оно пгопадом!

Я проводил его плачущего в избу, потом вышел, закурил и некоторое время стоял, глядя на его тесный двор, заваленный ржавым хламом, заросший травой и казавшийся брошенным, если бы не мокрое старенькое белье, сушившееся на серых веревках, что тянулись через двор вдоль полусгнившей, просевшей в землю бани с позеленевшими венцами.

— А чего такого страшного? — сказал бы Лука Лукич на подобное. — Таких-то вот завсегда было много, а после гражданской в особенности. Голь навозная, они громче всех кричали, пьянчужки: мы наш, мы новый мир построим. Ну вот и построили наконец.

Следует сообщить еще об одной, главной неприязни Луки Лукича.

Жила на другом конце деревни Анна Консенкиновна — сухая старуха, похожая на бабу-ягу из преданий. И видно, неспроста слыла она по всей округе колдуньей — многих захворавших выходила своими настоями, травами да наговорами. Шла она к больному неохотно и не всегда, но уж

если шла, результат был отменный. И все-таки люди обращались к ней только по крайней необходимости, побаивались ее, а больше всех боялся Лука Лукич. Был слух, что в молодости он соблазнил Анну (в ту пору, по рассказам, — тонколицую, молчаливую красавицу), жил с ней как с женой, а потом оставил и женился на другой, взяв в приданое корову и прочий хозяйственный инвентарь. Теперь эта другая угасала за шторкой, разбитая параличом.

В прошлом году девятого августа Анна умерла, и с тех пор Лука Лукич еще тверже стал ходить по земле, сбросил наконец с плеч тяжесть, много лет давившую его смутным беспокойством и тайным страхом, исходившим от бывшей любовницы. Старик, искренне не веривший в Бога, был твердо убежден, что дьявол у нее прописался пожизненно. Он обвинял ее в тяжелой болезни своей жены или, к примеру, в том, что однажды у него почти на месяц пропали овцы — ушли поутру со стадом и не вернулись. Пастух говорил, что видал их в лесу, в буреломе, но овцы совсем одичали и скрылись, едва он пошел им навстречу. Делать нечего — отправился Лука Лукич на поклон, и старуха оттаяла несколько, пошептала что-то в сенях и проводила его до порога. А напоследок, рассказывал позже Лука, погладила рукой по голове, по плечам, и будто бы из глаз ее скатилось по одной слезинке. На следующий день овцы вернулись сами, сбились у ограды до смерти напуганные, худые, в клочках репья и с грязной свалявшейся шерстью.

Поскольку в деревне утверждали, что Анна Консенкиновна колдунья, я с раннего детства боялся ее с такой неодолимой силой, на которую способны только дети. Однажды, лет семи, я так перепугался при встрече с ней, что три дня потом пролежал в горячке. Помню, на рассвете я собрался на рыбалку и пришел, как обычно, за червями на обрыв у реки. Туман еще не поднялся, тишина стояла удивительная, и лишь внизу у черных кустов слышалось бойкое журчание воды, извечно точившей скользкие стволы топляков. Я стал осторожно спускаться вниз, и тут увидел Анну Консенкиновну. Она стояла ко мне спиной, несколько ниже, где спуск был пологий, топталась с ноги на ногу и что-то быстро бормотала сердитым

шепотом, кидая на три стороны головой. Потом повернулась и стала подниматься вверх, а проходя мимо, посмотрела на меня как слепая и опять что-то забормотала, ускоряя шаг. В памяти моей сохранилось, как причитала мать, проклиная «ненавистную ведьму».

Едва Анна почувствовала близкий конец, как послала за Лукой и, по его словам, попросила срочно привезти к ней из дальней деревни Вербово какую-то девушку. Без нее, мол, худо ей помирать будет. И Лука поехал на своем «Урале», но не в Вербово, а в районную больницу и привез с собой врача, за которым вскоре пришла «скорая помощь».

— Ну вот и вышла под корень нечистая, — только и сказал он тем вечером, когда Анна, на удивление тихо, закончила свой земной путь.

— А ить она его всю жизнь любила, — поделилась со мной девяностолетняя Лукерья, вытирая платочком сухие глаза. — Только простить никак не могла за жадность-то его, за то, что променял ее на приданое Таськино. А ить с ее-то красотой могла бы выбрать какого хошь мужика. Видно, уж судьба такая — так и мыкалась всю жизнь одна-одинешенька...

Через полгода Лука похоронил жену, умершую не от паралича, а от рака, и от страха перед этой заразой стал пить разные настои и даже додумался есть сырые мухоморы, отчего отравился и отлежал в больнице.

И вот вчера, девятого августа, то есть в день смерти Анны, возвращаясь вечером со своими коровами с Ожогинских лугов в деревню, он утонул, захлебнулся на отмели в старице, где воды по колено. Там Квасняк и нашел его туманным холодным утром под самым берегом, с выкаченными глазами, с забитым песком ртом. Квасняк поднял на ноги всю деревню, захлебываясь, рассказывал на все лады о несчастье — и народ бежал, а после боязливо подходил к старице, глядя из-под ладони на зеленовато-прозрачную гладь. Вот и я пришел посмотреть. Лука Лукич лежал спиной на песчаном дне, поджав к животу колени, с торчавшей из воды окоченевшей рукой, короткие пальцы которой, словно в насмешку молчаливому сборищу, судорога скрутила в кукиш.

### **Андрей Александрович МАРКИЯНОВ**

*родился в 1959 году.*

*Поэт, прозаик.*

*Автор трёх книг.*

*Публиковался в журналах и альманахах «Сибирские огни», «Сибирское богатство», «Роман-газета», «Врата Сибири», «День поэзии», «Молодая гвардия», «Нижний Новгород» и др.*

*Член Союза писателей России.*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

